



В. В. РОЗАНОВ

П. А. Флоренский об А. С. Хомякове

В только что вышедшей, очень запоздавшей июль-августовской книжке «Богословского вестника» содержится обстоятельный разбор обширного труда профессора Киевской Духовной академии В. В. Завитневича, посвященного А. С. Хомякову, — принадлежащий перу редактора журнала, профессора П. А. Флоренского. Вот как Флоренский очерчивает предмет исследования киевского профессора: «И друзьями своими и врагами Хомяков при жизни еще признан главою того направления русской мысли, которая получила малоподходящую и уродливую кличку “славянофильства”. И правительство, и интеллигенция в Хомякове именно видели источник или, по крайней мере, очаг новой идеи. На Хомякова именно направлялись и хвалы, и порицания врагов богословских — не на кого-либо из славянофилов, а почти исключительно на него. Всякий вопрос о славянофилах и славянофильстве на три четверти, кажется, обращался в вопрос о Хомякове, и сама славянофильская группа мыслится как “Хомяков и другие”. Справедливо ли это? Полагаем, что — да, даже и не предрешая, сравнительно с прочими славянофилами, превосходства Хомякова по талантности, уму, образованности и убежденности. Хомяков был и остается идейным центром и руководителем славянофильской мысли не только или, точнее, не столько сам по себе, сколько по занятому им месту. Он как преимущественный исследователь того священного центра, из которого исходили и к которому возвращались думы славянофилов, — православия или, вернее, Церкви. Он наиболее пристально и наиболее последовательно вглядывался в себя, он настойчивее кого бы то ни было твердил о решающем повороте, который грозит мировоззрению народа в зависимости от неправого отношения к Церкви, и о последующем отселе историческом провале. Славянофильство есть мировоззрение, по замыслу своему непосредственно при-

мыкающее к Церкви, и Хомяков — центр славянофильской группы, властитель славянофильских дум, вследствие того что по общему смыслу и прямому признанию славянофилов, особенно старших, — Церковь, которую он, в сущности, занимался внутренне всю жизнь, есть центр бытия тварного».

«Исследователь священного центра России» — это хорошо сказано. «Где» он? «Есть» ли он? Вот почти век прошел со времени споров И. В. Киреевского и Герцена, с одной стороны, Герцена и Грановского — с другой стороны, после «трепетаний» Белинского — и этот «центр», его бытие или небытие, стоит перед нами вопросом. Потускнели значительно и западники, и славянофилы, «позиции» определились и сузились, и сейчас мы имеем борьбу социализма с «бытовой Русью», — т<о> е<сть> «не надося» и «мы все-таки есть». Борьба сделалась менее идейной, менее духовной — более физической, более динамической. «Кто кого одолеет?» — «Бытовая Русь» решительно теснится, дело «бытовой Руси» проиграно, по крайней мере в «образованном» или мнящем себя «образованным» обществе. «Западничество», собственно, не имеет своих «центров» в России — и не ищет их, — полагаясь и опираясь на колоссальный центр вне России, на «Европу», на «Запад», ее успехи, ее технику борьбы и жизни, ее ум. Но славянофильство?.. Вот его «центр», конечно, в России: автор статьи о книге проф. Завитневича и вместе невольно критик славянофильства, сам сделал своим монументальным трудом — «Столп и утверждение Истины» — драгоценный вклад в разыскивание этого «центра Руси»... «Быт»? «Церковь»?.. Но как все это неясно в положении, в очертаниях... И, подходя к «мудрой голове», часто спрашиваешь: «Где же у тебя ноги?» Всякий центр действует, живет, осуществляет себя. Вот в России чрезвычайно мало «своего осуществления». Именно «своего» и именно «осуществления». Тут надо подчеркнуть оба слова.

Голова — мудра. Голова — седая. А вот «ноги» точно парализованы. «Западничество», пожалуй, и не очень мудро, но вот быстро бегают. Везде на всех путях оно решительно обгоняет славянофильство. Даже хочется дать ему и насмешливое, и точное определение: «Горькое начало русской истории».

«Центр России»... Ах, тоскует сердце по нем. Хочется его. «Западничество» уже потому противно и, скажем полным словом, — ненавидимо, что оно и в будущем не обещает никакого «собственного центра для России», не хочет его. И оставляет на месте этой «одной пятой суши земного шара» — пустое место. «Россия — пустое само по себе место»: и это лозунг самой деятельной, самой «быстробегающей» части русского общества, — идущей

вперед, ведущей за собою. Кто не смутится перед этим положением? Чье сердце не затоскует черной печалью?

Будем слушать дальше П. А. Флоренского:

«Хомяков весь есть мысль о Церкви, и потому понятно, что отношение к Церкви со стороны судящих о Хомякове оказывалось так или иначе решающим и в оценке самого Хомякова. Говорю “так или иначе”, ибо в суждениях о Хомякове можно услышать прямо противоположное. С одной стороны, для любящих Церковь, но не видящих ее у Хомякова или, скорее, усматривающих у него подмену истины церковной чем-то другим, самодельным, равно как и для вовсе не любящих Церкви и не чувствующих реальности Ее — учение Хомякова есть неопределенное и туманное учение о чем-то мечтательном и призрачном, какая-то система о пустом месте и, следовательно, софистика, виртуозное пустословие, блестящее оригинальничанье. В этих нападках на Хомякова сходятся порою представители церковности с ярыми западниками, с другой стороны, для людей, в каком-то смысле считавшихся с реальностью той Церкви, о которой говорил Хомяков, и признававшихся, что он говорит о настоящей Церкви, а вовсе не о бессильной пустоте, сочиненной по образцу абсолют немецкого идеализма, и именно поэтому боящихся излишней, по их мнению, реальности этой Церкви, косо посматривавших на самую возможность для Церкви стать там, где она по смыслу своему, по праву своему и должна стоять, — для видевших в Церкви помеху на пути к полуправославному и внецерковному строю общества, будь то идея государственности или социализма, — сила Хомякова казалась вредной. Крайние государственники, равно как и революционные и социалистические деятели, — и те и другие не любили учения Хомякова, чутьем воспринимали в нем если не будущую победу, то, по меньшей мере, действительного противника: и тем и другим Хомяков представлялся человеком опасным. Так государственники и революционеры протягивали друг другу руку. Кроме всех этих, отрицавших Хомякова по той или другой причине, остается, наконец, круг людей, смотревших на Хомякова, безусловно, положительно. В учении Хомякова они видели залог лучшего будущего России, первый росток народного самосознания, начатки нового, наконец-то воистину православного богословия и т. д. — одним словом, зарю новой культуры, которою воссияет человечеству славянство».

Под «государственниками», которые косо или подозрительно поглядывали на Хомякова, разумеется, без сомнения, Катков¹ — великий практик политики, сущий «Петр Великий» газетного

слова, громов и величия. Катков как-то не видел и не оценивал, что если что могло предупредить политическое разложение общества, имеющее наступить за полным умственным разложением, то это никак не его политические речи, а именно славянофильство, принимая всех в Церкви, историческом средоточии России. Из какой-то неразвитости ума, несомненно присущей великому публицисту, он больше надеялся на латинский и греческий язык в гимназиях, чем на славянофильство. Если бы «кому следует» он с такою же настойчивостью указывал на то, что давно пора приблизить к центрам правительственного управления людей славянофильского образа мыслей, как он указывал им на пользу прусской учебной системы, то славянофилы, несомненно, и были бы призваны к центрам управления. Но он славянофилов действительно недолго любил и действительно побаивался, как, в сущности, верный «птенец гнезда Петрова», никуда дальше этого «гнезда» не улетевший. Катков был, по существу, западником. Формулу (очень поверхностную) славянофильства: «Православие, самодержавие и народность» он читал: «Самодержавие, еще раз самодержавие, народность и, пожалуй, несколько Церкви».

При суждениях о Хомякове П. А. Флоренский несколько подчиняется условиям нашего времени и уровню собственного развития, очень высокому, и не принимает, по крайней мере к яркому сознанию, условий времени Хомякова. Шло царствование императора Николая Павловича и начало «эпохи великих реформ», когда в Церкви царил авторитет митрополита Филарета, а в делах правления «благовествовал» шеф жандармов Бенкендорф²; в литературе же шла линия торжества преемственно Герцена, Белинского, Добролюбова и Чернышевского. При таком положении поднимать стяг внимания к Церкви, зова в Церковь — было невероятно трудно. И то, что сделал, однако, Хомяков при этих условиях, было поистине «горою». Флоренский говорит о нем: «Несомненно, что все возраставшая доселе слава Хомякова — в последнее время готова вспыхнуть ярким пламенем в связи с возникшим отвращением от западной культуры и поднявшим голову славянофильством...»

Тут, мне кажется, слишком много дано в пользу славянофильства, и в частности Хомякова. Труд проф. Завитневича велик, но это и есть только труд Завитневича. Кто знает его, Хомякова? Где сколько-нибудь ссылаются на него? Его идеи не принимают решительно никакого участия в идейном движении нашего общества, и его имя никогда не произносится в литературе. Если мы скажем, что на сто раз почтительно произнесенного имени «Кар-

ла Маркса» придется «один раз услышать выруганное имя Хомякова», боровшегося «за ядро русского самосознания», — то мы скажем не только явно слишком большую похвалу имени Хомякова, но и сделаем явное преувеличение значения этого имени. Нет, напрасно скрывать: и до настоящего времени имя Хомякова, конечно, всем известно, но оно — злобно известно, проклинаемо известно; сочинения, или «творения» его решительно неизвестны обществу, попав в какой-то «монастырь» или «затворы» единичных, редких людей. Если нам ответят на это, что «общество безумно», то мы скажем, что вот это-то и составляет господствующий факт нашей умственной жизни, победить который ни малейше не удалось славянофилам.

На самом деле, и «творения» Хомякова, и труд Завитневича, и острая статья о нем Флоренского — «не по зубам» обществу, и просто смешно читать, когда критик говорит Завитневичу, что его «два тома скучно читать», потому что они «только излагают самого Хомякова», а не дают «критики на Хомякова». Кому скучно читать? Флоренскому скучно читать, потому что они не дают ничего нового, а обществу скучно и тяжело читать, потому что это все сплошь для него новое, никогда не слыханное, никем не виданное, и неужели же оба, Завитневич и Флоренский, хотят заставить общество столько «работать над собою» и заниматься «своим самообразованием»? Это жестоко и грубо. Общество наше, подобно классическим богам, питается только нектаром и амброзией. Гораздо слаще и легче ему занять свое внимание фельетоном газеты, где оно в 51-й раз прочтет о том, какие великие обещания для человечества содержатся в нем, в этом обществе, какая у него золотая душа и сладкие грезы, до чего оно преисполнено братскими чувствами ко всем народам. Это труда не требует, ответственности не ожидает, это просто сладко, и только сладко. «Меньше чем на ананас для себя — наше общество не мирится». И вот это-то и есть «самое главное дело России», единственное «важное дело России»: как перевести людей от ананаса к хлебу, без которого ему придется, по-видимому, умереть от незаметного истощения.

В высшей степени интересны и важны рассуждения П. А. Флоренского о «протестантском начале в истории» в связи с именем и памятью Хомякова. Самый тревожный вопрос относительно Хомякова, говорит он, заключается в давнем подозрении его, Хомякова, в протестантизме: «Для Хомякова сущность протестантизма заключается только в протесте против романизма (католичества), при сохранении, однако, основных предпосылок и характерных приемов мысли этого последнего. Но дозволитель-

но сомневаться, так ли это. Развитие протестантизма и его производных уже после Хомякова обнаружило с несомненностью, что в основе протестантизма как главного выразителя культуры нового времени, лежит гуманизм, человекоутверждение, человеколюбие или, по терминологии, заимствованной из философии, — имманентизм, т<о> е<сть> замысел человечества из себя, вне и помимо Бога воссоздать из ничего всякую реальность, и в особенности реальность святыни, — воссоздать во всех смыслах, начиная от построения понятий и кончая духовной реальностью. Между тем существо православия есть онтологизм, т<о> е<сть>: приятие реальности от Бога как факта, а не человеком творимой, смирение и благодарение. Что же мы видим у Хомякова? Самое противоположение им начал «иранского» и «кушитского» наводит на раздумье. В «Легенде о Великом Инквизиторе» у Достоевского раздвоение образа Христова на два, из которых ни один, ни Инквизитор, ни «Христос», не есть чистое выражение духа Христова, приводит религиозное сознание к бесконечным трудностям, заставляет выбирать между «да» и «нет» там, где *tertium est*. Инквизитор не от Христова духа имеет помазание. Но неужели, с другой стороны, оставаясь членом Церкви, дозволительно отрицать «авторитет, чудо и тайну» или хотя бы что-нибудь одно из трех? Так же и у Хомякова: Инквизитору Достоевского соответствует «кушитство», «Христу» Достоевского соответствует «иранство»; но тогда духу Христову, Церкви, не находится истинного места в системе. «Иранство», которое для Хомякова почти синонимично христианству в Церкви, на самом деле по характерным чертам своим весьма напоминает протестантское самоутверждение человеческого «Я» — и, во всяком случае, не ближе к православию, чем «кушитство», в котором Хомяков карикатурно представил многие черты онтологизма. Обо всем этом не принято говорить в печати, хотя дружески подобные суждения неоднократно высказывались. Но пора и поставить вопрос о «кушитстве» ребром. Дух «кушитства», хотя и в искаженном положении, которое довел до конца Л. Толстой в своих кощунственных выходках против таинств, имеет несомненные черты подлинной церковности, Если бы уж нужно было выбирать между двумя, в разных смыслах неправильными, изображениями церковности у Хомякова, то скорее пришлось бы остановиться на кривом зеркале «кушитства», чем на приукрашенном «иранстве». Что в живой Православной Церкви имеется и то и другое начало, Хомяков это отлично видел и признавал, но он чересчур просто отделялся от этого себе возражения ссылкой на зараженность православного мира началом кушитским. Вглядыва-

ясь же более внимательно в собственные теории Хомякова, мы, к скорбному удивлению своему, открываем в нем тот же дух имманентизма, который составляет существо протестантизма, хотя и в неизмеримо усовершенствованном виде, — главным образом внесением идеи соборности, — хотя должно отметить, что мысль о соборности сознания не совсем чужда и западной философии, напр<имер> Канту, не говоря уже о Шеллинге последнего периода, и далее — Фейербаху, Контю и др<угим>. Разумеется, православное воспитание и осведомленность в источниках вероучения и церковной истории побуждали Хомякова быть осторожным в тех местах, где естественно было бы выразиться расхождению хомяковской мысли с разумом церковным; а редкая по силе диалектика придавала положениям Хомякова такую гибкость и такую убедительность, при которой самое сомнительное и самое опасное кажется притупившим острые, режущие углы. Но, при всей осторожности Хомякова и при его чисто сердечном желании не сталкиваться с учением церковным, самые источники его воззрений для человека православного, при внимательном их разглядывании, не кажутся ли подозрительными?

Да, но еще «последующих времен» не наступило для Хомякова, и он совершенно не мог видеть того, что видит перед глазами своими Флоренский. В 40-е и 50-е годы, когда жил Хомяков, было невероятно трудно хотя бы как-нибудь связать умственную жизнь русского светского общества с Церковью — и он схватил хотя бы «протестантский привкус», все-таки «рациональный» и «гуманитарный» и потому хоть как-нибудь влезавший в голову современников Белинского, Герцена и Грановского. Чтобы «причаститься», надо сначала научиться «пить». Просто — «пить воду». К этому изначальному физиологическому «приему жидкости в рот» Хомяков и приучал современников Белинского. Да и не «приучил». Никто и никак не хотел «пить», ни — сгущенного православного вина, ниже протестантской водицы. Как это в медицине? Кажется, и «собачье бешенство» начинается «водобоязнью». «Бешенство» нигилизма и началось укором: «не могу проглотить». В самом деле, как что-нибудь «из Хомякова» начало бы «принимать» общество, испивавшее из чаши Фердинанда Лассалья³ и Карла Маркса? Вещи несовместимые. «Нам надо взбеситься, а вы говорите о лекарствах». Шел или начинался процесс «политического бешенства», и уже «бешенство» обнаруживалось по отношению ко всяким идеальным или идеалистическим вещам. «Вот, говорят еще, есть Пушкин. Кроме Хомякова — и Пушкин. Но нам и Пушкина не надо, потому что он не ведет на баррикады»⁴. Наконец «на баррикады» повели милых

людей три всесветных светила: Лассаль, Гольденберг⁵ и Азеф⁶. «Умираем за истину», вопияли россияне, как и шедшие при Петре и Софье за Никитой Пустосвятом⁷.

Одной из интереснейших частей критики П. А. Флоренским «круга мысли» Хомякова являются замечания его касательно теории Хомякова о «самодержавии». Флоренский пишет:

«Как в учении о Церкви Хомяков противопоставляет понятия общественные понятиям государственным, вместо того чтобы прямо утвердиться на понятиях церковных, так и в учении о государстве у него заметно стремление объяснить все из момента социального. “Общество, а не государство” — вот смысл хомяковских утверждений, выраженных прямо. Эти сложные построения, думается нам, — не что иное, как подход народного суверенитета; как там, выше, — подход к началам всечеловеческого суверенитета. Иерархия римская, по смыслу хомяковского учения, виновата тем, что усвоила именно себе суверенитет всего человечества, т. е. всей Церкви, — делает поспешное уравнивание понятий Хомяков. Я сказал “поспешное”, ибо если бы иерархия римская или даже сам папа провозглашали догматы истинные, а все человечество Риму в том противилось, то Рим в сем случае и был бы всею Церковью, хотя суверенитет человечества был бы узурпирован. А что теории суверенитета Хомяков держится вообще, то это несомненно: он открыто ее высказывает в своих соображениях о происхождении династии Романовых, хотя и не называет этой теории ее настоящим именем. Русские цари самодержавны потому, полагает он, что таковою властью одарил их русский народ после Смутного времени. Следовательно, не народ — дети Царя-Отца, но Отец-Царь — от детей-народа. Следовательно, Самодержец есть Самодержец не “Божией милостью”, а народной волею. Следовательно, не потому народ призвал Романовых на престол царский, что в час просветления, очищенным страданиями сердцем узрел совершившееся определение воли Божией, почуяв, что Михаил Феодорович⁸ уже получил от Бога венец царский, — а потому избрал, что так заблагорассудил наиудобнейшим для себя — даровать Михаилу Феодоровичу власть над Русью, — одним словом, не сыскал своего Царя, а сделал себе Царя. И первый Романов не потому сел на престол, что Бог посадил его туда, а потому, что — вступил в договор с народом. Следовательно, приходится заключить дальше, что “сущие власти” не “от Бога учинены суть”, но от *contrat sociale*⁹; — не Божие соизволение держит престол, а *suffrage universel*¹⁰. Это — хомяковское учение. — Может быть, на это скажут, что такое возражение Хомякову есть смешение области правовой и госу-

дарственной с областью богословской и духовной. В порядке юридического, скажут, суверенитет народа все-таки должен быть признан, и его не обойти. Это было бы так, если бы сам Хомяков не отрицал чисто юридическую постановку общественных и государственных вопросов и не требовал возглавления всего верою. Конечно, во внерелигиозной, чисто светской мысли там, где Бог не признается источником общественного строя, — без народно-го суверенитета обойтись нельзя. Ибо если нет в научном сознании Бога, то кому же, как не народу, быть последним судиею своих дел? И тогда право самодержавия без суверенитета народа обосновано быть не может. Но будет ли такое «самодержавие» — самодержавием? В том-то и дело, что в сознании русского народа самодержавие не есть юридическое право, а есть явленный самим Богом факт — милость Божия, а не человеческая условность; так что самодержавие Царя относится к числу понятий не правовых, а вероучительных; это входит в область веры, а не выводится из внерелигиозных посылок, имеющих в виду общественную или государственную пользу».

Нельзя яснее этого разъяснить, нельзя доказательнее этого доказать. Нельзя и на минуту усомниться, что Хомяков, сам прослушав это возражение себе, изменил бы вовсе свою аргументацию «самодержавия» и, без сомнения, принял бы ту народную, какую только [что] раздельными словами и очень отчетливо изложил Флоренский. Заметим также для теоретиков русского государственного строительства — из них особенно имеем в виду профессора Одесского университета г. Казанского, написавшего громадную книгу «О самодержавии русских царей», — что они ни в каком случае не должны выпустить из виду рассуждений П. А. Флоренского.

Между тем он взял эту часть теорий А. С. Хомякова только как пример вообще метода его рассуждений. «Это — основная точка зрения Хомякова», — говорит он; «и эта точка зрения с меньшею яркостью, но все-таки отчетливо определяет и его учение о Церкви. Свободное самоутверждение человека — бытие, имманентное человеку, проявляющееся в организации любви, для него всего дороже. Действительно, он «великий альтруист», как определяет его проф. Завитневич. Но и великий альтруизм сам по себе ничуть не похож на Церковь, ибо Церковь полагает основу свою в том, что вне человечности, а для альтруизма, как и для всякого гуманизма, самой крепкой точкой опоры представляются внутренние, имманентные силы человека. Высказанное здесь положение о Хомякове может показаться неожиданным, но, будучи принятым, оно бросает неожиданный же свет и на

борьбу Хомякова с онтологическим моментом в религии. Отношение к трансцендентному в религии, на его взгляд, кажется проявлением “кушитства”. Но тогда понятно, почему он отвергает и авторитет в применении и к Церкви; каковой, естественно, есть авторитет лишь постольку, поскольку он вне того, кто авторитету подчиняется».

Громadne три тома исследования В. В. Завитневича о Хомякове вызвали весь этот разбор отдельных теорий Хомякова П. А. Флоренским. Как мы с удовольствием узнали на днях, этот критический разбор Флоренского вместе с приложенною к нему таблицей «родословия» А. С. Хомякова, а вместе с тем — родословия почти всего славянофильского кружка, которую составил Ф. К. Андреев¹¹, — выйдет в непродолжительном времени в свет самостоятельную книжкою. Это необходимо ввиду ценности содержания. Порадуем приверженных к славянофильству людей и другим известием: вскоре же, в этом году или в следующем, выйдет огромная книга — диссертация о Ю. Ф. Самарине¹² вышеупомянутого Ф. К. Андреева, также профессора Московской Духовной академии. О Н. П. Гилярове-Платонове мы имеем уже хорошее исследование кн. Н. В. Шаховского¹³. Таким образом, не быстро, но зато массивно — в достойных предмета своего труда — дело славянофильства, область славянофильства крепнет и ширится в русском самосознании. Хотелось бы сделать здесь еще одно упоминание — напоминание. Покойный К. П. Победоносцев¹⁴ не «вплотную» примыкал к славянофилам, однако он к ним примыкал все же значительно; примыкал ближе, чем к каким бы то ни было другим кружкам, партиям и программам в России. И, изучая славянофильство и славянофилов, нельзя его ни обходить, ни упускать из виду. При этом даже нет необходимости или неизбежности касаться его государственной деятельности — его «дел» вообще. Это слишком громоздко, трудно для освещения, и особенно для изучения; но многие упускают из виду, что Победоносцев есть автор «Московского сборника»¹⁵, книги яркой и лирической, что вообще его «литературность» была довольно обширно выражена. И укажем еще на С. А. Рачинского¹⁶, коего личность почти совершенно игнорирована в печати. А ведь это одна из светлейших личностей русской жизни за XIX век.

Ах, гробы, гробы славянофильские. Отчего около всегда так трудно, так неходко, так неудачно. «Что-то есть»... Что? — Нельзя рассмотреть. Славянофилы образовали особое течение русской мысли и деятельности, которое пошло «вспять»... пошло «наперекор»... Они сделали «обратное движение» двум векам движения,

начавшегося с Петра Великого. В сущности, славянофилов у нас не особенно мало — особенно теперь. И что радует явно, среди, особенно, молодежи начинают лхнуть к славянофильству. Это действительно — «берег»; это в самом деле — устой и твердыня. Имена, здесь собранные, до такой степени ярки умом и талантом, особенно ярки благородством личности и деятельности, что получше этого «чистого берега» нельзя указать в действительности. Но вот: все около него трудно. Трудно к нему пристать, трудно около него плавать. Отчего это?

Да, «вопреки» пошли — в упор, в отпор. Петр Великий кликнул клич: «к Западу». Все метнулось сюда, слова, мысли; но в особенности метнулась сюда масса государственности, главный корабль «государства и действительности». Увы, хотя мы часто и «хорохоримся» против государства, а, однако, все плывем в «государственном корабле». От этого все наши так называемые «радикалы» суть только кажущиеся радикалы; на самом деле они чуть-чуть только не официозны. Они только гораздо дальше и гораздо ускореннее идут «на Запад», куда с Петра Великого шло все наше правительство, куда плыл и плывет два века «государственный корабль». Если что в них раздражает собою правительством, то это зуд, прыткость, суэта, юркость. Раздражает, потому что большой корабль должен плыть солидно, стойко и со всеми надлежащими флагами, удостоверениями и официальностью. Но, помимо этого, т<о> е<сть> помимо, в сущности, мелочей, программа и руль и паруса у государства и у радикалов — общи: «к Западу», «под западным ветром».

Славянофилы же возгласили: «к Востоку» и «восточным ветром». Они одни и единственные и суть у нас радикалы. — «От корня надо лечить все», и «от корня надо и поворачивать дела»...

Тут нужно заметить еще одно — и это тоже многое объясняет в трудном положении славянофилов. Оно неразъединимо все связано с Церковью, с работою около Церкви. Теперь обозрите глазом все ставшее уже неизмеримым русское образованное общество и выглядите в нем, кто же, собственно, «связан с Церковью» или хотя бы даже «интересуется Церковью». Насколько Церковь близка народу и «неизбежна в нем», настолько же Церковь чужда и, так сказать, «неприбежна» обществу. Это рок, судьба, и отвратительная судьба. По этой причине главным образом славянофильству так трудно распространяться и находить себе учеников и прозелитов; хотя в утешение скажем — по этой же причине примыкающие к славянофильству примыкают к нему особенно крепко, верно и горячо. Но в общем и в массе — таких столь немного. Можно назвать целый ряд самых влиятельных,

читаемых журналов, где имя «Церковь» не только не произносится часто, но и не произносится совершенно никогда. И «никогда» — за десятки лет. «Современник», «Отечественные записки», «Вестник Европы», «Русское богатство», «Северные записки», второй «Современник», «Современный мир»; многие годы выходивший «Мир Божий» (!!!?), «Книжки недели» — это же, это без малого почти вся русская текущая литература, протекавшая около читателя ни много ни мало 60 лет!! Что около этой печати, около 6–7 «ежемесячных книжек» и названных журналов, значили одиночные книжки одинокого «Русского вестника», вечно чахнувшего «Русского обозрения»; или одинокая газета Н. П. Гилярова-Платонова «Современные известия» и, наконец, тетрадочки «Русского труда» и других изданий Шаррапова¹⁷. Шел громадный слон, а около него бежал бессильный мальчик.

И хочется сказать, обратясь к питомцам духовной школы: «Ваше это дело», т<о> е<сть> что поддержка славянофильства должна бы сделаться почти сословною задачею нашего духовенства, — но гораздо более активным образом, чем было до сих пор. Знаем, практическая жизнь поглощает почти все время у нашего духовенства, «служб» так много, «треб» тоже очень много, но ведь все-таки есть и чтение, все-таки есть «остаточек времени». Посмотрите, как в 60-е годы русское духовенство, и особенно сыны его, поддержало «Современник»¹⁸. Без этой, до известной степени сословной, «поддержки» «Современник» не сыграл бы своей огромной исторической роли. Но ведь лучше же «взять глаз в руки» и увидеть ясно, что здесь духовенство поддерживало, правда, «очень русский журнал», но зато журнал, шедший нескрываяемо к задачам искоренения всякой Церкви, всего духовного, а следовательно в конце концов, конечно, и к истреблению всего духовенства, всякого духовенства, в том числе, я думаю, даже и «буддийского», не говоря уже о «непереносном христианстве». Здесь явно, таким образом, духовенство и сыны его рубили под собою корень. Вина его, и крупная историческая вина, против России. Но прошли десятилетия. Явно, и Восток, и Россия, а в частности и православие, загораются новыми зорями. И вот здесь сплотиться около славянофильства — какая поправляющая задача, поправляющая ошибку 60-х годов!

В особенности слово мое — к юным, к питомцам духовных академий, к питомцам и семинарий. Московская академия в этом отношении превосходно работает; в Киеве В. В. Завитневич и дал и дает, я думаю, большой толчок; черед за Петроградом и Казанью. Нельзя не сказать с большой скорбью, что если «когда-то»

были хоть малочитаемые журналы славянофильского направления, то таких теперь вовсе нет. Трудно поверить — но нет. В эпоху гигантской борьбы с Германией, когда, казалось бы, «вся Россия должна вспыхнуть славянофильством»¹⁹, по крайней мере должна бы вспыхнуть чисто русскими воззрениями, чувствами, складом мышления, — сколько угодно есть журналов для марксизма, сколько угодно есть журналов для социализма, а русскому чувству — нет места. Германский червь хорошо ел и давно ел русскую почву. Но вот это-то, именно это, и показывает, как настоятельна борьба, как она нужна... И что трудно — то ведь вы ж, господа, молоды...

